

---

---

Вячеслав СВЕШНИКОВ

## НА ТАГАНКЕ

В апреле 2024 года Театру на Таганке<sup>1</sup> исполнилось 60 лет.

Сегодня читателю предлагается литературная зарисовка по мотивам эпизодов жизни театра в 1982 году. Театр помнил о своем новом имени. Тогда Таганка отмечала свои 18 лет. Юность! Театр любят, обожают, его кураж жив, несмотря на потери, билеты на спектакли по-прежнему трудно достать. Для именитых гостей и друзей Таганки попасть в легендарный кабинет главного режиссера и расписаться на белых стенах — это дело чести и престижа. Многие бури и сражения, потери, поиски и находки как в судьбе самого создателя театра, так и его труппы еще впереди. А 1982 год — это вполне мирное течение жизни Таганки.

Конечно, не обо всех спектаклях того периода упоминается в данных коротких записках. Перед вами не документальная история, не исследование театроведа. Скорее — это взгляд пристрастного зрителя тех лет. Здесь возможны шутка и легкая игра неприхотливой фантазии. Нет необходимости в конкретных именах известных актеров, режиссеров, художников и др. Порой всем нам важен сам факт присутствия театра (его эмоций, художественных смыслов и, конечно же, его создателей, работников, зрителей) в нашей жизни.

Все дальше и дальше уносятся от нас те юношеские годы Таганки, а им навстречу из-за горизонта медленно наплывают белые причудливые облака легенды.

### **Глава 1. Приближение**

Москва. Станция метро «Таганская», кольцевая. Еще внизу, на платформе, попадают странные люди с загадочным блеском в глазах. Они мягко, осторожно подходят к вам и тихонько вопрошают: «Билетика не будет?» Это подвижники. Приверженцы идеи, жрецы искусства. Чаще всего — студенты.

Но вот и эскалатор, и вы плывете вверх. Вы отрываетесь от жаждущих заполучить билет. Но быстрее вас летят те, что вопрошают. Они обгоняют все и вся в этот вечер. Их смысл бытия предreshен сегодня ответом на вопрос: «Лишнего нет?» «Исход», «удача», «цель», «проигрыш», «победа», «рок», «случай», «озарение» и т. д. — вот метафизические категории, которыми они бредят в этот вечер. Наш очаровательный круглый мир вдруг превратился для них в спортивное копьё, острый конец которого впиивается в афишу театра. Или в сердце избранного бедного актера (актрисы). Все остальное — прах, ноль, тлен. И нет бога, кроме златокудрого Аполлона.

---

Вячеслав Свешников окончил физико-математический факультет пединститута, Литературный институт им. А. М. Горького. Более тридцати лет был сотрудником редакционно-издательского отдела ИМЛИ РАН. Публиковался в книге «Чеховские чтения в Ялте. Чехов и XX век» (М., 1997), «Московском журнале», «Звезде». Живет и работает в Москве.

<sup>1</sup> Основан в 1946 году как Московский театр драмы и комедии. Преобразован в Театр на Таганке в 1964 году Юрием Любимовым.

Эскалатор внезапно уходит из-под ног, и вы на твердой палубе родной земли. Но прежде чем выйти через тяжелые деревянные со стеклами двери, с усилием поворачивающиеся на бронзовых петлях, вы натываетесь взглядом и мыслью на длинный белый свиток, приклеенный к стене, — список желающих: «простолюдинов», скромных претендентов, любителей, знатоков, провинциалов, «коренных», залетных... — всех, кто имеет дерзость желать переступить порог театра и оказаться в труднодоступных стенах «храма». Шаг в сторону, чтобы не мешать людям, выходящим сейчас из метро.

— Записаться изволите?

— Ваш порядковый номер 1768-й. Приезжайте через недельку взглянуть, как продвинулись.

— Не хотите уезжать? Правильно. Не опустим на самотек. Солидарен. С ночевочкой... контроль железный...

Ах, читатель знает как эта жизнь и тем паче искусство любят это роковое, неотвратимое, неподкупное, неподвластное родственным чувствам и стальным связям слово — жертва.

## **Глава 2. У парадного входа и вокруг...**

«Оставь надежду...» «Здесь нужно, чтоб душа была тверда», — неумолимо произнес бы уроженец Флоренции, увидев эти концентрические кольца проголодавшихся людей с иступленными глазами и охрипшими от простуды голосами — всех, окруживших главный и служебный вход театра. Это еще не круги ада или рая, но все же поэт был бы здесь не далек от истины.

— Нет, случайно, лишнего билетика?

— Если будет — мне, пожалуйста; я вас первая заметила еще у метро, потому что у вас шапочка с кисточкой!

Здесь все в азарте ожидания удачи и борьбы за нее: чудно-зеленые провинциалки, школьники, театроманы, солидные люди и не очень; худые и полные; черноволосые и блондины; научно-технические работники и простые служащие, студенты...

Вот медленно кружит в этой пестрой толпе алчущих худошавый юноша с рассеянным взглядом, с лицом и прической средневекового инока. Он протискивается вперед, трется у самых дверей, отодвигается к окнам, заговаривая с кем попало об актерах, об их ролях, о том что, где, когда снимается и ставится, совместно с кем и зачем, и когда выйдет, и стоит ли смотреть, и прочее. Он уже был несколько раз в этом театре, куда так рвется эта пылкая духом толпа. И сейчас на правах «старожила», на правах «друга театра», «сына труппы», воспитанника этих стен и, так сказать, завсегдатая он может с вами поделиться о том, какие актеры сегодня заняты в спектакле (он добросовестно выучил наизусть программу, купленную у бабули месяц назад здесь, у входа), кто играет лучше, кто из рук вон плохо и почему и как следует жить актеру на сцене дальше и т. д. Кто он? Тайный поклонник всех муз? Фанат с соседней улицы? Он в центре внимания то одной группы, то другой. К нему тянутся. Он одет весьма сдержанно, кое-где даже жертвенно. Неизгладимо, как стиральная доска, помятая нейлоновая куртка, на которой, несмотря на осень, нет, кажется, ни крючка, ни пуговицы, ни замка. Виднеющаяся рубашка застегнута в силу невнимания к мелочам мира и в силу глубины идей, потрясающих его, через пуговицу. Брюки ходят ходуном вокруг тощих коленок. И неясно, почему октябрьский весьма строгий ветер до сих пор не подхватил и не унес за собой за черту города его легкую, как дух, фигуру. Все деньги матери он спускает на книги о театре и кино, и оттого, наверное, тело его худосочно,

а лицо так бледно. Но кто бы он ни был, он должен просветить толпу слабых дилетантов. И вот снова и снова обращает свою речь к страждущим, никого не одаривая персональным взглядом — это было бы слишком расточительно.

На служебный вход на противоположной стороне театра жалко взглянуть. Не успеют «Жигули»<sup>2</sup> с актером (актрисой) подрулить к площадке, как тут же машина оказывается в руках «почитателей талантов» и почти висит в воздухе с вращающимися еще по инерции колесами. Испуганный актер (актриса) выключает и включает зажигание по нескольку раз, вместо того чтобы сделать это один-единственный. Он (она) хватается с заднего сиденья толстый блокнот с автографами, приготовленный заранее, и, забрав в легкие побольше воздуха, отважно выбрасывается вон из кабины. И попадает в жаркие объятия неукротимой, затомившейся в безвестности толпы поклонников.

### **Глава 3. Прорвемся к кассе**

- Давно стоите?
- С пяти утра...
- Гм, как... гм... к-хе!
- Товарищ кассир, взгляните на меня, вам не звонил Никифор Иванович ... на пару билетиков?
- Как «нет мест»?! Я буду жаловаться! Стою здесь тринадцатый час, понимаете ли... видите ли ... слышите ли ... знаете ли...
- М-м... вот записочка, пожалуйста, это от Марьи Алексевны, пожалуйста, прочтите...
- Кхе-с, гражданин кассир, я приезжий... из Мичуринска, а вы москвичи, народ здешний... А я издалека, а вам рядом... Могли бы по такому случаю билетик... какой-никакой, пускай неудобный... Я из Мичуринска, а вы в Москве...
- Ну и что, что в Москве! Я вот сорок лет прописана под боком, в первый раз пришла и не могу попасть. Да что это такое творится! И-и-и! Своим, кровным!.. А каким-то лимитчикам несчастным, проходимцам, авантюристам, крохоборам!
- Гражданочка, не оскорбляйте! Попрошу!..
- Успеем-не успеем, не успеем-успеем... — чирикают две студенточки в очках в модной французской оправе, гадая и на пальчиках подсчитывая количество согбенных спин впереди себя.
- Товарищи, обед. Перерыв, — объявляет потный кассир, появившись на мгновение в окошечке.
- Как обед?! — тоскливо ахает спиралевидная, обманутая в лучших чаяниях очередь. — Какой обед, мы даже не ужинали!

### **Глава 4. Гардероб**

Ты вошел. Как в макрокосм — в сферы иные. Здесь воздух другой. Здесь царство равных и вольных счастливых.

Мы замечаем юную женщину в фойе — меж ярких, слепящих зеркальных миражей... Тонкий восточный стан ее нежно повествует о любви, ах, и только о ней, и все о ней, злодейке («Все цветы для тебя в этом мире цветут...»). Она явилась. Свидание... Она расчесывает локоны. Она улыбается победно, лукаво. «Он мой сегодня». Она столько дней (или ночей) мечтала о нем, столько слышала «загадочного», лучше сказать, «дефицитного» от подруг... Он был недоступен. И вот — назначенная встреча. Она вол-

<sup>2</sup> Ах, господи, это же 1982 год, доисторические, прямо скажем, времена...

нуется, локоны не слушаются расчески, пальцы похолодели, щеки бледны, глаза блестят... Куда уж деться: сердце бьется. Что-то будет... «Ой, только б не разлюбить!..»

И она рассеянно протягивает свою шубку в гардероб.

Остается поверить, что ее возлюбленный сегодня — освещенный тысячами «свеч», оживленный сотнями свежих голосов, волнуемый нетерпеливыми и ненапрасными ожиданиями — театр.

— Ой, добра шубка и дорогая... — чуть слышно бормочет гардеробщица, румяная, очень бодрая бабушка Лиза, быстро принимая одежду из холодных рук женщины.

— А этот-то шпингалет в заношенной куртке, из студентов, тоже в люди..., по театрам шмыгает; деньги бы лучше зарабатывал, — она ворчит на молодого человека для профилактики, ибо сама денег почти никогда не видела. Все, что зарабатывала, отдавала внукам и внучкам. Жила на пенсию. На хорошем месте, на людях работает и довольна. Театр она любила с юности. Сейчас радовалась своему месту в гардеробе: приятно видеть каждый раз столько новых лиц.

Руки протягивают к ней шапки, шляпы; руки молоденькие, нетерпеливые, в кольцах, с лакированными ногтями или браслетом... Гладкие, безвольные, но чаще — энергичные и уверенные. Иногда она невольно, в силу служебной необходимости касалась кожи этих рук. Такое было общение. Молчаливое, как правило. Хотя, конечно, слышались рассеянные, мимолетные «спасибо». Но ей довольно. Общение состоялось. Мимо нее они не могли пройти, разве что летом, но лето быстро проходит. Да летом и театр подолгу в отпусках или на гастролях.

Ей нравилось принимать плащи, пальто осеннее драповое, пальто зимнее с меховым воротником, а лучше — весеннее яркое, как лужайка. Шубы в затейливых вышитых узорах, шапки генералов и невесомые шляпы дам... Со всем этим вместе забирался воздух с улицы — холодной, завьюженной в феврале или прогретой в мае, промокшей в октябре или пропахшей талой водой в марте... Капли дождя, снег на плечах, шапках; солнце, ветерок, даже, казалось, клочок тумана — все это заходило к ней в гардеробную. Она оживала, поворачивалась все быстрее — к гремящим пластмассовым номерам, к холодным или теплым рукам, обратно — к крючкам и номеркам и снова к ждущим рукам. Конечно, немножко задыхается, но зато и скучать некогда. Сама давненько уже любила этот необычный блеск освещенных зеркал, людской гомон и затаившуюся до поры там, за занавесом, сцену...

С удовольствием подмечала, как обновляется человек, скинувший пальто. Ее, как в молодости, слегка кружил этот вечерний карнавал-маскарад платьев, мод, духов, причесок, лиц, улыбок, смеха — все то, что она в минуты передышек теперь наблюдает в фойе театра. Волнение опаздывающих к началу спектакля она всегда умела ласково погасить. И вновь — звон прозрачных пластмассовых номерков, шелканье замков у сумочек, перчатки, оброненное зеркальце... «Слава богу, все хорошо, дай бог здоровья».

Жили и голоса. Ее партия обычно была незатейлива:

- Возьмите ваш номерок...
- Гражданин, вы же забыли снять шарф...
- Ну что вы, без бинокля никак нельзя: у вас же балкон, и вы сегодня без очков...
- Вы хотите портфель? Одну минутку...
- Не волнуйтесь, это еще первый звонок.
- Буфет направо...
- Это вниз, налево...
- Да, это премьеры.
- Прекрасный спектакль, увидите всех звезд...

- Это мне? Ах, спасибо!
- Да, да, я вас помню, как ваша девочка?
- А вы в прошлый раз были в бежевом костюме, я вас сразу узнала.
- Товарищи, больше номерков нет, пожалуйста — рядом.

### **Глава 5. В зрительском буфете**

Нельзя же, в самом деле, пройти мимо самого сладкого (вкусного) места. Попутно, на бегу заметим, что в театре, конечно, два буфета — зрительский и служебный. Мы пока перекусим в первом. Избранные посетители искренне и стойко убеждены, что единственное приличное место, где неплохо расслабиться вблизи, так сказать, Мельпомены и в порядочном обществе — это театральный буфет. Не будем оспаривать это искрометное замечание. Оно имеет силу. Именно здесь молодые пары не обращают порой никакого внимания на сдачу. И только здесь девушки с такой музыкальной грацией кусают зубками дорогой импортный ореховый шоколад, небрежно-мило рассказывая или выслушивая при этом очередную легенду о любимом актере. Только здесь «птичье молоко» — повседневное явление. Женщины пьют, естественно, шампанское или кофе. Настоящие мужчины предпочитают коньяк и еще кое-что, закусывая бутербродами с черной икрой или на худой конец — с красной рыбой. Здесь на стойке буфета порой вырастает огромно-круглый русский самовар. В силу требований века — почти электронный. О, только здесь вы не найдете ничего дешевого. И только здесь вы не скучаете в очереди и только в эти минуты буфетчица для вас — почти любимая актриса.

Что греха таить, кое-кто из поклонников театра, кино и живописи всерьез и надолго увлекся в сегодняшний вечер буфетом и справедливо не обращает никакого внимания на первое действие начавшегося спектакля. Действительно, что может сравниться с бархатно-черной икрой (до отказа набитой белками и витаминами С, D, B, E ...), запиваемой изумительным чешским пивом. Что может быть приятнее этой томной тиши слабо освещенного, опустевшего буфета вдали от суеты мирских забот и дел семейных. Можно, наконец, вольно откинуться на спинку буфетного деревянного креслица, вытянуть ноги и с приятелем вслух предаться мыслям «о Шиллере, о славе, о любви», об искусстве, так сказать, в целом...

### **Глава 6. Администратор**

Но представим, что до третьего звонка остается еще целых десять минут. И часть будущих зрителей еще звенит монетой<sup>3</sup> в буфете, а часть прогуливаются в фойе, с удовольствием рассматривая роскошные фотографии своих кумиров. Погуляем и мы...

Но не успеваем мы сделать пять-шесть степенных шагов по мраморным плитам фойе, как нас чуть не сбивает с ног темным вихрем промчавшееся мимо человекоидение... Ах! Что это?!

Не беспокойтесь и поднимите свой платок. Это же администратор. Ответственная должность. Для нее не в шутку надо родиться. Иметь приличное воспитание и солидное образование. Или не иметь ни того, ни другого. Неплохо запастись добротной физической закалкой. И — благоприятной, располагающей к себе внешностью. Иначе горе администратору. И друзьям его. Бывают дни, когда в творческом угаре он весь день, не выходя из кабинета с тремя черными телефонами, забыв про обед и скинув клетчатый пиджак, исписывает листы за листами вежливых, учтивых, страстных,

<sup>3</sup> Эра банковских карт и Google Pay еще впереди.

«нежных» административно-личных записок к администраторам-собратьям других театров. А также записок-разрешений-приглашений-пропусков на посещение спектакля в нашем театре многолюдным родственникам, высокопоставленным друзьям-приятелям и очаровательным в своем неведении административных тонкостей дела представительницам изумительного пола. Тети, бабуси-лапушки, тести, тещи, двоюродные, племянницы, внуки бабушки Оли, внучки дедушки Васи, подружки дяди, невестки и пр., пр. Их довольно. Их имя, так сказать, легион. И тьма, и тьма... Администратор один. Он еще молод. Ему хочется жить и работать в театре.

Другой день его заполнен иным. Бег вхолостую. Тренировка. До обеда. Но после обеда он бегаёт по назначению. От служебного входа к парадному. Через (сквозь) многочисленные извивающиеся пожарной трубой коридоры, труднопроходимые лестницы, переходы, едва заметные лесенки, щели, каналы, фойе, буфеты, кулисы... — и обратно. И вокруг театра. Без шапки, будучи взволнованным... Он принимает всех приглашенных. Он сияет, он растроган. Он счастлив их наконец-то видеть. О-о-о... Проходите! Нет, сюда, вот ваше место. А вам — здесь. Неудобно?! Минуточку! В это кресло, пожалуйста. Может быть, на балкон? Бельэтаж? Что вы! Хотите программку? Вино какой страны вы предпочитаете на ужин?

И он мчится вдаль. Галстук сбит, пиджак расстегнут и вьется на спине, лоб пылает, волосы летят в противоположную сторону, в глазах — наслаждение битвой жизни.

Он знает всех. Его знают все и вся. Слава актера, пьесы, режиссера — да, конечно, это украшение театра, видимое издалека. Но актеры приходят и уходят «толпой угрюмою». Слава имеет свойство рассеиваться, как дым от «Мальборо». Пьесы могут меняться. Режиссеры орлами парят над Олимпом. Администратор же здесь, на грешной земле, в толпе людской. У него обширное море обязанностей. И мы вправе отдать должное его преданности театру и любви к зрителю. К тому же не будь его вдохновенных усилий — сколь многим из нас так и не достался бы заветный, долгожданный билетик!

## **Глава 7. Босой Александр**

Он работает в театре осветителем лет четырнадцать. Спектакли знает наизусть. Работает свежо, артистично, весело. Заочно обучается на режиссерском факультете ГИТИСа (так гласит театральное предание). Пытается организовать свою труппу и свой репертуар. Свой успех.

Его заработная плата составляет сто рублей<sup>4</sup>. Он снимает однокомнатную квартиру с телефоном неподалеку от театра и платит за нее внушительно-разорительную сумму ежемесячно. Жена моложе его лет на пятнадцать. Ему тридцать восемь. Он маленького роста. Крепкий. Бородатый. Полуодетый.

Выходя из метро, будь то в январе, апреле или августе, он быстро сдергивает надетые на босу ногу башмаки в стиле сократовских шлепанцев, купленные еще во времена цветущей юности, и идет до театра босиком. А подходя всякий раз к метро, он достает башмаки из матерчатой сумки и ловко, как домашние тапочки, нанизывает на ступни. Босиком в метро не пускают.

Он шагает упруго и легко. На нем короткие хлопчатобумажные брюки. Розовеющие пятки скрипят по снегу и замороженному асфальту. Тонкая рубашка расстегнута до половины груди. Систематически раз в год он перекрашивает свою рубашку в иной цвет. Для разнообразия впечатлений. На голове, которую держит прямо, кроме спутан-

<sup>4</sup> «И он еще жив?!» — воскликнули бы мы, на миг поместив нашего героя со всем его богатством в современные координаты жизни.

ной прически, никогда ничего не бывает («головной убор — помеха общению с тонкими мирами»).

Приветствуя вас при встрече, он слегка театрально (как и подобает долгожителю Таганки) наклоняется навстречу, выделяя весьма многослойной интонацией ваше имя и слово «здравствуй», и жмет руку своей сухой, очень крепкой ладошкой. Заходя в вагон электрички в метро, он величаво оглядывается по сторонам, кивает головой сразу всем и внятно произносит: «Здравствуйте!»

В театре к этому привыкли. Актеры и режиссеры здороваются с ним за руку кто с той же долей игры, кто просто, дружелюбно, но все — с легкостью и удовольствием. Кое-кому, правда, не нравились его босые в пыли, дожде или в тающем снегу ступни, кое-кто находил их не совсем чистыми, но что ж поделаешь...

Он был философ. Главное — дух, утверждал он. А тело — слуга. Не быть рабом плоти. Дрессировать ее. Три-четыре раза в сутки садиться за обеденный стол, ублажая тело, а затем вдобавок бегать и бегать от кухни к сортиру и обратно — да это же кошунство. Неслыханное унижение духа. И он объявил суточные воздержания от пищи. Постепенно он дошел до трех суток голодания в неделю. В эти сутки он снисходительно позволял себе выпить лишь несколько кружек чая. Чтобы не вызывать особых подозрений и паники в рядах обывателей, он объяснял это как лечебное голодание.

Родители с грехом пополам выстроили ему однокомнатный кооператив, за который еще придется доплачивать лет двадцать. На радостях за бесценку он скупил где-то столы, стулья, шкаф, кресла, тумбочки — производства двадцатых — тридцатых годов.

Стояла глубокая осень. Предзимье. Друзья в зимних ватниках ежились у открытого грузового фургона, пока Александр, легкий, как последний лист на березе, сверкая пятками, летал между машиной и подъездом дома, распорядясь, как лучше утрамбовать всю мебель. Казалось, толстовские глаза его разгорались вполне земным светом...

Но стиль бытия ничуть не изменился. Проповедуя среди собратьев-осветителей и поклонников с ближайших улиц идею довольствоваться малым, Александр частично представлял нежданно-негаданно воспрянувшее к жизни (конечно же, только в его лице) течение древнегреческих киников. А призывая жить согласно с природой и владеть своими страстями, он не был равнодушен и к стоикам. Мир гармоничен и погружен в себя. Управляй собой. Упорядочивай хаос. Следуй разуму.

Ограничиться устной проповедью Александр не мог. Он изложил свои теоретические взгляды в нетленном (по его стойкому убеждению) трактате символистского стиля. В этом многодневном и многостраничном труде он дал себе благородное мифически-прекрасное и почитаемое имя, окружив его легендами и учениками, подвластными любым колыканиям его священнодействующих рук. Главная проблема — долголетие — решалась молниеносно путем частого отказа от низкой земной пищи и путем перемещения во времени и пространстве со скоростью воображения. Там же излагались мысли воссоединения с природой, возвращения «на лоно ея». Одним из путей к тому служила скрупулезно разработанная методика закаливания слабой человеческой плоти. Робкие намеки его учеников на то, что подобные идеи уже не раз предлагались человечеству в последние тысячелетия, начиная с IV века до н. э., сбивались на лету.

Став автором трактата, Александр не смог усмирить свой дух. Необходимо было идеи воплотить в жизнь, возвести их в ранг живогорящего, бессмертного искусства. Он сотворил пьесу. Нужна труппа. Нужен свой неподражаемый, неповторимый, лучше сказать, единственный под небесами театр. Он спешно стал вербовать последователей, учеников (больше учениц), подсобных, подручных, младоалександров... Молоденькие девушки не в силах были удержать восторга от приобщения к неземному. После двух-трех психолого-философских сеансов они ахали:

- Вы необыкновенный!
- Вы чудо!
- Вы — гений...
- Вы наш идеал!
- Вы наша звезда!
- Вы — супер! — и т. д.

Он молчал. И ждал продолжения.

Неожиданно, раза три в год Александр, а вместе с ним и сияющий нимб его голых пяток и возвышенных идей исчезали из стен театра. Спустя неделю он возвращался либо из Суздаля, либо из Костромы, Киева, Вологды, Ярославля, Новгорода и т. д. Объяснял: «Отлучался по духовной надобности». Вопросов не было. Начальство чаще мирилось: за давностью срока службы Александра, из-за количества его заслуг перед искусством, из жалости к обнаженным пяткам и семье философа.

Неотразимое влияние своей личности среди учеников и намечающейся будущей труппы не имело, однако, в душе самого Александра должного отклика. Пьесу и трактат-роман в силу незаурядности создателя демократическая масса не смогла, видимо, оценить по достоинству. Тогда он устремил философический взгляд на бедную свою семью.

Сложнее всего оказалось увлечь за собой по высокогорной тропе иной веры жену. Она выражала смиренное согласие, когда, бывало, на кухне, отхлебывая из ложки горячий борщ, он говорил о бренности всех зримых вещей. Она склоняла головку, но тут же показывала на его порвавшуюся на плече рубашку и добавляла, что надо бы купить новую. Тут он недовольно спотыкался в своих тезисах, но продолжал о том, как вредно для глаз и нервов столь часто, как это делают несчастные женщины, посещать символизирующие мирскую суетность магазины, рынки, базары и пр.

Он морщился, как от надоевшей зубной боли, от слов «ювелирный магазин», «парфюмерия», «модная обувь»... Пора погрузить взор свой в духовную природу мира — напутствовал он жену. Почаще вспоминать, какого цвета облака на небе, и есть ли оно вообще, это небо, ибо многие о нем не подозревают. Сколько созвездий она может назвать? Помнит ли она запах бледноглазых подснежников в апреле, когда начинается обильно булькать в ледяных лунках первая капель? Что такое ветер в беспредельном поле? Как зовутся кустарники и цветы, растущие в долинах Миссисипи? Необходимо знать, почему Сократ не покупал своей жене венгерские сапоги, подсчитывая пульс в змеевидной очереди, и сам не гонялся за «кроссовками». Надо читать русскую золотую прозу и русскую философию и не участвовать в спекулятивных гонках за абонементом романов о любовницах французских королей. Почему Коперник прожил жизнь на чердаках, а Эйнштейн был так признателен Достоевскому? Почему зеленому кузнечнику так мало уделяется внимания? Почему никто не спросит, зачем он так лихо щелкает коленками под листом лопуха? Что вообще он там нашел для души? И т. д. О музыкальных предпочтениях Александра история не оставила внятных свидетельств.

Юная жена не смогла довериться всей глубине мудрых мыслей и оценить звучание поэтических струн мужа и порой безнадежно пропадала в яростно освещенных, переполненных глухим ропотом и возгласами универсамах, с восторгом осматривая там что-то, трогая, выбирая, нюхая, перебирая, отвергая, требуя, жалуясь, предлагая, умоляя...<sup>5</sup> И по-прежнему с упоением читала романы из времен Людовика XIV, Луи-Филиппа, кардинала Ришелье и часами слушала «Битлз».

<sup>5</sup> «Что за архаика! Она не пользуется Маркетплейсом? Несколько нажатий кнопок на смартфоне — и все привезут домой!» — «Увы, не пользуется, это все тот же 1982 год».

Но время шло. Жена да покорится мужу. И она вникала: «голодовка», «скромность одеяния», «деньги — прах», «бренная плоть», «дух болящий» и т. д. И как-то пыталась следовать за своим босым любомудром, как за Аввакумом.

— Доколь терпеть эти муки? — изредка вопрошает она.

— До самой смерти, Марковна...

— Добре, ино побредем еще...

Итак, жена в последние пять-шесть лет была частично обработана в русле его учения. Остальное — в ближайшие годы.

Бесстрастно-задумчивый взгляд его скользнул по детской кроватке, где барахтался, почмокивая и попискивая, семимесячный наследник Александрэра.

«Пора ему приступить», — глубоко вздохнув и бросив взгляд за окно к горизонту, ввысь, подумал Александрэра. Он подошел к кроватке и хладнокровно стал расстегивать пуговички на распашонке, благо жены не было дома. Невзирая на протестующие, недоуменные крики младенца, Александрэра взял гольша на руки и стал массировать его спинку, ножки, ручки. Потом, мерно ступая прославленными босыми пятками по паркету, стал перемещаться в однокомнатном пространстве основательно проветренной квартиры, покачивая раздетого наследника в такт ходьбе.

«Десять минут вводного курса — на сегодня довольно», — сказал он себе, укладывая зашедшегося плачем ребенка в кроватку.

Спустя пять месяцев малыш уже не знал в восходящей жизни иного одеяния, чем то, которое предлагает природа-мать. Он стойко и доверчиво переносил по утрам и вечерам прохладную ванну и выполнял под руководством отца массу самых затейливых, многосложных, не поддающихся описанию и воспроизведению гимнастических упражнений.

Гольный наследник присутствовал иногда на репетициях и спектаклях в театре, где бывал усажен вместе с испуганной матерью в отдаленный угол.

Идеи Александрэра набирали силу.

## **Глава 8. Режиссер**

Сегодня репетиция. По театру идет шепот. Вся многочисленная служба-свита ходит на цыпочках. Тс-с-с!.. Не шуршите! Режиссер в зале, радиосвязь включена. Слушают актеры, гримеры, немногочисленные гости, костюмеры, осветители, пожарные, художники, портные, слесари, электрики, помощники режиссера, уборщицы...

Репетиция завершается.

— Смирнов, вы не были вчера на репетиции? Отчего?

— Зуб болел? Гм... И это вы всерьез? Если б у вас случился вывих, не дай бог, гипс на ноге, не дай бог, то на второй ноге вы могли бы вполне прилично приползти на площадку. И репетировать. Свято место. И пусто не пребудет.

\* \* \*

— Однако как мало вас, друзья, прописанных в театре. Все больше в кооперативах, в гаражах, на даче, у поклонниц ваших талантов, поближе к заласканному морю, домику-садику... Все больше на цыганских гастролях и быстрых деньгах... Дурно-с.

\* \* \*

Старая сцена Таганки. Он любил ее. Часто засиживался один в небольшом, но очень уютном зале. Здесь выращены, взлелеяны лучшие его спектакли. Лучшие мысли, на-

ходки, вдохновение. Счастье художественное пережито здесь. Наизусть помнил каждый метр деревянной сцены. Каждое кресло, отшлифованное руками и одеждой посетителей этого обжитого зала, казалось родным, удобным креслом собственного кабинета. Здесь пронесли лучшие годы. Самые свежие силы развернулись и вспыхнули счастливым подсолнухом, озарив светоносными лепестками лица друзей, актерво-сподвижников и благодарных зрителей.

Возведен новый корпус здания. Вторая сцена театра. Она казалась огромной, пустынной, чужой. И холодной. «У новых домов есть все, им недостает только прошлого» — так говорят французы. Да, она была технически совершенной, но он никак не мог отделаться от чувства неуюта и холода, глядя на ее распаханное пространство. Честно говоря, он даже побаивался ее. Сцена была хороша для массовок. И два спектакля с учетом этого он сделал на новой площадке. Он часто повторял, разводя руками:

— Зачем мне этот комбинат? Оставляю себе старую сцену и буду работать...

\* \* \*

На новое поколение актеров он глядел с надеждой и вопросом: что привнесут? Чем удивят и порадуют? Еще не оправился от недавней ошеломляющей потери... Но главное, верил в старое, проверенное в многолетней работе ядро труппы. Не успокаиваться, не застывать в прошлых приемах. Всегда должно оставаться место изменениям, неожиданным находкам. Нельзя играть так, как сыграно однажды десять лет назад!

Репетиции шли непрерывным потоком. Они были порой важнее самого спектакля.

\* \* \*

Служебный буфет. Телевизор с большим экраном в углу комнаты включен, кажется, на полную мощность. Эстрада планеты. Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассен...

Актеры за столиками. Игра продолжается и здесь, она вдохновляется чашкой крепкого кофе или бокалом шампанского. Пересказывается в лицах последний театральный анекдот, идет поиск новых интонаций и жестов. Под гром музыки из телевизора это как-то даже веселей происходит: некий художественный бардачок, где вольность слов, взглядов и улыбок просто расцветает. Молодежь балагурит. Кто-то с пеленок верит в свой гениальный жребий. Он, этот жребий всяческих приятных вещей, уже давненько пал в их молодые улыбочивые рты.

— Ах, это вы, Наталі! Да, да, я видел ваш фильм, очень рад... — это в буфет вошел режиссер.

Но Наталі уже не слышит последних слов, она кивает пальчиком с лакированным ногтем, мол скоро освобожусь, и продолжает доедать свежий салат и допивать кофе, бросая нежный взгляд на сидящего напротив смущенно-красного молодого пианиста, появившегося в театре совсем недавно. «Бедняжка, он еще не созрел для Таганки. Надо помочь юному дарованию». И она с присущей ей элегантностью и врожденным артистизмом принимается за спасение:

— А как чудесно вы играли вчера на репетиции! Это ваше сочинение?..

Черные глаза Наталі слегка искрятся. Ах, как опасно погружаться в их омут. Но все же она чертовски хороша! Увы, неисчислимы и неизъяснимы все роли красивой женщины в этом мире...

Режиссер еще раз быстро оглянулся. Свободных мест нет. И не предвидится.

Телевизор шумно плескается волнами далекого Лазурного побережья.

\* \* \*

Ему минуло шестьдесят пять. Около сорока из них — в театре.

К концу дня он неимоверно устал. Может быть, уже стоит завершать? Не погрешив против истины, можно сказать: дело сделано. Но все же хотелось работать. Чудилось, как вместо того, чтобы убывать, долг нарастал с неумолимым ускорением.

И он решился. Он думал об этом авторе, как о природе, кажется, с рождения. Неотступность долгих дум о новом спектакле внешне прерывалась иными именами, пустяковыми событиями, громкими постановками, заманчивыми гастролями, возгласами «Браво!», текучкой неумолимой повседневности.

Вот, кажется, созрело. Подтолкнуло сердце — снова к Пушкину. Это необходимо поставить здесь. Сам Бог велел. Еще одно долгое усилие. Удастся ли? Неизвестно. Он пробовал оценить свои силы.

Судьбы его «обширные заботы» устремились по одному прямому радостно-бурлящему руслу — к Пушкину. Отныне он весь — в последнем спектакле. Второй год идут репетиции, раскаленные добела от насыщенности, уровня, объема материала. С кем-то из актеров выдержана творческая дуэль на десяти шагах. Всегда желанные встречи с ансамблем народной песни... Долгие поиски с художником единственно нужных декораций.

И наконец птица подброшена. Из хаоса воля, сумасбродных желаний, самолюбий, кокетства, капризов, обид и ссор выросла, вырвалась вперед, понеслась и повлекла за собой его единая воля, единый замысел — все к заветной цели.

Уже разливается-ширится, звучит симфония, и почти невидимая палочка дирижера послушно трепещет-вьется в его пальцах.

Рождается спектакль — «Борис Годунов». Расцветает в нем, в режиссере как владыке, и в актерах, в художнике-сценографе, в костюмере, композиторе, гримере, осветителе... Далее — суд зрителя и времени.

\* \* \*

Проносится слух-молния: новый спектакль отменяется по каким-то «временным» мотивам. И заменяется другим.

Режиссер исчезает. Спустя дни появляется в театре, как после опасной болезни. Замкнут, молчалив, покоен<sup>6</sup>.

Он был свободен в одежде. Удобные джинсы, легкие кожаные туфли. Простая курточка на плечах всегда распахнута. Седая грива волос небрежно закинута назад. В жестах, движениях — легок и молод, в голосе — интересен и глубок, в лице — открыт и свеж, в глазах — умен и бодр. И всюду свободен. Был свободен в друзьях, замыслах и дарованном таланте. Он оказался не свободен в судьбе спектакля.

Но театр продолжал жить и отвечать взаимностью на любовь зрителей.

### **Глава 9. Поэт ушел, а мы пока остались**

Уже два года, как нет в театре Владимира Высоцкого<sup>7</sup>. Но дух его живет в деревянных подмостках, в складках занавеса сцены, в микрофонах и фонарях софитов, в зри-

<sup>6</sup> Через шесть лет спектакль будет возвращен (разрешен). Мастер и в дальнейшем обратится к Пушкину («Маленькие трагедии», «Евгений Онегин»).

<sup>7</sup> Речь идет о 1982 годе.

тельном зале, в фойе и гримерке. Песни звучат те самые, и голос все тот же. И как будто повисли в воздухе вопросы.

Правдив его хрипловатый голос и долетает до голубых небес с золотыми куполами. Но так напряжен! Почему? Отгоняет смерть или нас хочет разбудить?

А что же с нашей чашей? Испить? Выплеснуть? Разбить? Передать другому? Передоверить?

И что такое крик? Вибрация голосовых связок или обнаженных нервов бой?

Все так же пугаем мы одежды правды и лжи?

Он в схватке, атаке, в прорыве, а мы легли на дно?

Мы спокойны — у нас есть выбор. А если выбора не будет?

Где наши горы? Где микрофон наш?

Почему его жажда жить и любить порой равна жажде умереть?

Почему он зряч, весел и влюблен — а у нас не получается?

«Конь на скаку и птица влет... По чьей вине?..»

Почему есть вопросы, а ответов нет?

Нелегко было выдерживать актерскому братству (да и всем нам) горячее дыхание этих вопросов. Но жизнь толкает, бьется и клокочет вокруг, дальше, больше... Спектакли продолжают, зрители благодарны и милосердны. Режиссер рядом. «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

\* \* \*

Северный уголок Карелии... Маленькая бревенчатая школа затерялась в глухих лесах. Ни аэродрома, ни железной дороги. Автобуса не дождешься из-за непролазной грязи... Кругом изумительный нетронутый лес, лес, не пуганное ружьями зверье, океан чистого воздуха, крупная и сильная рыба в неизвестных реках. Но еще маловато книг, музыки, людей...

Весна, апрель, волнуются птицы; в проточной воде с крыш поигрывают солнечные блики... В маленькой деревянной пристройке к зданию школы, что на краю села, идет урок физики. За последней партой сидит заморенный теплом солнца через окно, дурно одетый еле-еле троючник шестиклассник Васька Егоров. Класс возится с лабораторными весами. Егоров грызет карандаш, шмыгает носом, хлопает глазами, треплет буйно отрастающий чуб, небрежно постукивает пальцем по чашечке весов, перекидывает с ладони на ладонь гири-разновески и... явно скучает. Время от времени он открывает свой большущий рот и смачно на весь класс зевает. Класс при этом дружно смеется. Наконец и зевать Василию надоедает. Тогда он изображает руками гитару, глядит в окно тоскующими глазами и запекает тихонько, для себя, для души:

А в Ленинграде — с крыши потекло.  
И что мне не лететь до Ленинграда?!  
В Тбилиси — там все ясно, там тепло,  
Там чай растет, — но мне туда не надо!

...

Мне надо — где сугробы намело,  
Где завтра ожидают снегопада!..  
А где-нибудь все ясно и светло —  
Там хорошо, — но мне туда не надо!

Кругом лес, лес, дикие дороги, много болот, и Москвы не видно. Но тринадцатилетний Василий Егоров уже любит эту мелодию, помнит эти слова.

Что ж, это было спето поэтом и вот дальним горным эхом несется повсюду.

## Глава 10. Сцена

При первой короткой встрече она поражает своей древесной простотой. И вот это — то обычный деревянный, не совсем ровный, начисто отмытый настил и есть сцена театра, о котором с загадочной улыбкой и восторженным придыханием говорят всюду до самых глухих, отдаленных мест России? Говорят с обожанием, с веселой искоркой в глазах.

Но она, оказывается, вовсе не так проста. Она вооружена массой специфических сооружений, терминов и понятий. Она может подниматься и опускаться. Может прикрыть себя первым, вторым, третьим занавесами. В конце концов, она может заслонить свое лицо от зрительских настойчивых взглядов загадочным светом рамп. Она имеет софиты<sup>8</sup> — верхние и нижние. Прожектора, обливающие ее светом и цветом слева, сверху, справа и снизу, могут иметь электронное управление. Она имеет чуткие радиоуши. И тот знаменитый микрофон! И многое другое.

Сейчас мы попытаемся взглянуть, как сцена готовится к спектаклю.

Итак, вначале она гола и пустынна, как те библейские клочки земли, избранные отшельниками веры и муз.

Но вот... Чу! Что это? Отдаленный невнятный шум... Он нарастает, приближается и сейчас, кажется, сомнет вас. С гиканьем и свистом проносятся мимо молодые непричесанные создания: в джинсах, голые по пояс, с мощными бицепсами и стальным прессом, в рваных кедах и с дерзостью во взоре... Это монтировщики. Лихое племя. Их крутая многоголосица вперемешку с русским крепким словом сыплется по всем залам, кулуарам, коридорам, как по степям. Она катится отовсюду, перемешиваясь с грохотом и пылью монтируемой сцены. Тренированные тела мелькают перед глазами во всех четырех измерениях с неопишуемой восточной акробатической ловкостью. В их сильных руках появляются дверные косяки, люстры, крюки, книжные шкафы, сетки, кресла, седла, телевизор... Боже мой, вон двое тяжелым бегом несут на плечах деревянный гроб, и что-то нетерпеливо постукивает в нем...

Их налет на сцену длится от сорока минут до двух часов.

Но вот гул стихает, эхо гаснет, пыль ласково повисает на занавесах, ложится в партер и на балкон. И на мгновение в театре наступает умиротворенная тишина.

Но краток этот миг.

Далее мир во власти осветителей.

Осветитель. Полное имя — «просветитель». Видите, один из них вылезает из-под сцены, как из преисподней, потный, красный с фонарями, проводами, подсветкой, желтыми, зелеными, синими светофильтрами, штативами и прочей физикой в руках и на спине. Вот он жертвенно повисает над сценой вниз головой на верхнем софите, настраивая фонарь.

«Просветитель» сипло кричит, обращаясь в диспетчерскую кабину, расположенную высоко над балконом в задней стене зала:

— Давай тридцать первый! Давай ложу! Правую! Софит! Световой занавес!

— Принеси бэбики!<sup>9</sup> — гаркает кто-то на новичка. Тот бежит по сцене и вокруг, путаясь под ногами у всех, лихорадочно повторяя: «Какие бэбики-бобики-бабочки? Где они? Кто они?..»

<sup>8</sup> Театральная осветительная аппаратура, укрепленная на металлических фермах и предназначенная для освещения сцены спереди и сверху.

<sup>9</sup> В те славные времена, в просторечии осветителей — это один из видов специальных фонарей для дополнительного освещения сцены.

Внезапно пустынный зрительный зал и сцена погружаются в розовый, потом синий, фиолетовый полумрак; задняя стена сцены вдруг обливается нежными светло-желто-красными цветами восхода солнца. В воздухе начинает пахнуть детством и сказками... Это колдовство «просветителей».

«Просветитель» — это уже не просто. Это искусство. Он самый внимательный и чуткий зритель каждого спектакля. Его желанная цель — питать светом и цветом актера, кем бы он ни был, как бы он ни выглядел. И самое страшное — оставить актера и вверенный кусочек сцены без света, в крошечной тьме в ответственную минуту его роли! Только свет! Светить — и никаких чертей! И никаких теней!

Замер в своей кабинке на правой ложе осветитель. Вот-вот подадут напряжение на «пистолет» (род фонаря). Сейчас пробьет его мгновение — вырвать из тьмы (в которую вдруг по замыслу режиссерской руки погрузилась вся сцена) лицо актера. Зал затаился. Как будто слышатся шаги самой судьбы. Световой луч золотой стрелой летит вниз и попадает в цель:

Гул затих. Я вышел на подмостки.  
Прислонясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске,  
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче,  
Чашу эту мимо пронеси.

....  
Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе,  
Жизнь прожить — не поле перейти.

После осветителей на обетованную землю ступают аристократически настроенные радиосвязисты. В белых брюках, в ослепительно-белых тапочках и чуть ли не в белых халатиках. Они два раза небрежно щелкают ногтем в подвешенную над подмостками чашечку микрофона и уходят, не оставив белыми подошвами зримого следа.

Из-за кулис выпархивают девушки с многочисленным реквизитом. Появляются подушки, кружки с пивом, шпага, чемодан, раскрытая книга, настенный барометр, пистолет семизарядный с круглым барабаном, гантели, чернильница... Ах, что только впервые в своей бедной жизни не увидишь на сцене! Все, что душевке угодно. Хотите «хладный», свирепый клинок горца — извольте, он уж режет в воздухе клочок ваших волос. Хотите шляпу дворянина из Парижа XVIII века, кресло Вольтера; подсвечник, как у Арины Родионовны; обожженный штык 1917 года; колокол Кирилло-Белозерского монастыря?.. А вот голуби порхают над сценой; петух зашелся в боевом кличе; гусиное перо, готовое брызнуть чернилами на бумагу; скрипка со смычком (говорят, это скрипка Сальери)...

Далее — тишайшая работа уборщиц. И вот уже все просушено, проветрено, все блестит. Ни пылинки, ни соринки не будет ни в чьих глазах. Сцена умыта, причесана. Благоухает. Она сейчас — как древнегреческая богиня: все звезды над ней возжены.

На тут на подмостки выбегает помощник режиссера.

Он взбивает подушки, пересчитывает патроны в барабане, взводит курок, пробует на язык острие сабли, пьет пиво, включает телевизор, кому-то кивает и пытается улыбнуться, машет рукой связистам, передвигает кровать на полдюйма и исчезает в складках занавеса, откуда доносится:

— Орлы! Третий звонок, приготовились...

Остается несколько минут — вот-вот в зрительном зале появятся зрители.

И вдруг откуда ни возьмись на середину сцены вылетает мокрый, растрепанный актер. Он начинает энергично шевелить ртом, воздымать глаза, падать на колени, целовать стулья, поднимать гантели и сдувать пивную пену. Хватается за пистолет, приставляет к своему виску, давит на курок, но как назло — осечка за осечкой... Наконец в изнеможении делает несколько глотков пива, произносит жуткий монолог и убегает. Последняя репетиция.

### **Глава 11. Зрительный зал**

Но пора, пора уж нам войти в зал.

Заполненный зал театра — особое творение. Это картина неизвестного мастера. Общая и слегка очарованная душа. Вы чувствуете, как над собравшимися людьми, усевшимися чуть колышущимися рядами, веет озоновый ветерок всечеловечества. Сейчас и здесь царит аура любви. Что он, человек, еще выдумал, как себя разукрасил; что скажет и чем еще удивит нас этот Сфинкс? А в том, что будет нечто удивительное, узнаваемое и неузнанное, милостивое или грозное, ушедшее или надвигающееся, реальное или фантастическое, музыкальное, живописное, выпуклое или вогнутое, зеленое или голубое, небесное или земное — в этом никто не сомневается. Что-то будет...

Но вот, вот... занавес поднимается... Сцена!

Гаснет свет зала, и загорается свет иной — тот, что в душе художника.

Спектакль уже идет.

Партер. Внимательные лица. Упал листочек с программой, крутят бинокль... Кто-то еще шепчется. А вот девушка пытается развернуть обертку шоколадки.

Галерка. Страсти пантомимы. Наиболее подготовленные балансируют на одной ноге, другой ногой упираясь в воздух или в стену. Стоят вплотную, навывтяжку, почти как в утренней электричке в час пик. Шея растет и утончается одновременно. Главное, не упустить из виду героя, героиню...

Горячий воздух, сдерживаемое дыхание, сосредоточенные глаза.

### **Глава 12. Идет спектакль...**

«*Послушайте!* Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».

«Граждане, послушайте меня...»

«Слушайте, товарищи потомки...»

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте...»

\* \* \*

«*Три сестры*». Ольга. Маша. Ирина.

«За что страдаем?.. Если бы знать, если бы знать...»

О боже, в каких только пыльных городках и селениях не выгорает, не выветривается чья-то юность! (А может быть, наша?) Час пик наичестнейших стремлений, мыс-

лей, лучших сил и желаний. Воистину — безмерно звездный час. Солнечная вспышка любви. Где это? Куда они? Тонет все среди дурных дорог, уродливых вкусов и убеждений, среди заскорузлого лишайника примитивного быта и неясного томления бескрайних необжитых пространств. А время летит, и кажется, что жизнь и счастье возможны только где-то там, в обетованной земле. Сколь многих медвежьих углов желанный клич: «В Москву, в Москву!» Почти заклинание, облагороженное чеховской грустной думой.

И вдруг — о чудо! Часть боковой стены зрительного зала театра медленно поднимается выше, выше... И вот уже потоки холодящего вечернего воздуха огненно-сияющей Москвы хлынули в зал. Все головы в изумлении поворачиваются в эту сторону к улицам с жужжащими автомобилями, навстречу свежести, огням, пульсу, дыханию огромного города.

Вы мечтали, тосковали, вы рвались в нее всеми силами молодых душ, сдавленных до поры... Вот она — видите: Москва наших дней. Ступайте же в нее и делайте жизнь!

Этот властный жест режиссера — к кому он обращен? К героям пьесы или ко всем сидящим сейчас в зрительном зале?

Возможно, еще страдаем, но уже знаем, многое знаем...<sup>10</sup>

\* \* \*

Но что это происходит со сценами? О-о, в некоторых местах она вдруг вырастает большими грибами в неясных одеяниях. Да это не грибы, это люди! Один гриб — трапеце-видно-квадратная Коробочка, другой — сахарно-ванильный Манилов, третий — гориллоподобный Собакевич, четвертый — гуляющий бакенбардисто-залихватский Ноздрев. А вот еще грибок, всем грибам гриб — смазанный жирком, приглаженный теплым утюгом крепкий жук Чичиков.

А вот что-то... вдали... что за музыка, какая песня и что за ветер? Чудо-чудный Гоголь! Мы спотыкаемся о грибы, но зрим твою тройку, что несется за горизонт, и слышим неподвластный времени удалой свист ямщика. От века он не дает нам покоя. Уж космической бездны достиг он и мчится с неземными скоростями...

Гогочет на всю губернию круглощекий, волосатый Ноздрев и хлещет водку; хихикает с ужимкой коварный подбородок Чичикова. «Давненько я не брал в руки шашек». Хи-хик-с. «Знаем мы, как вы играете в шашки». Ох-кхо-кхо-кхо! Ых-ха-ха-ха!

Нечленораздельно сопит и чавкает Коробочка.

Тает в благих мечтах, расплываясь прошлогодним медом, рыхлая плоть Манилова. Изредка рычит на людской род Собакевич.

А вдоль рампы, в приглушенных огоньках ее и в самом зале быстро, почти бесшумно мелькает скомканная фигура бедного чиновника в изношенной шинели. Это Акакий Акакиевич Башмачкин, вознесенный силой растревоженного сердца в чин бессмертных.

В морозных сумерках беззвучно мечется человекотень. Воротник шинели поднят, спина согнута, ужас белеет на остром, едва уловимом лице.

Кажется, холодная рябь озноба пробирает затаившийся зрительный зал сквозь прохрудившуюся ткань полутора столетий («Ревизская сказка»).

<sup>10</sup> Наверное, уже не осталось «медвежьих углов», а если еще где-то... то они сами сегодня представляются многим из нас «землей обетованной». Но мечта об иной, лучшей жизни, порыв к ней? А чеховские герои? Это есть и пребудет с нами.

\* \* \*

Сцена полна тени и молчит. Неожиданно сверху падает прямой тонкий луч прожектора. На конце луча, в ярком круге света возникает лицо певца. Гитара. Микрофон. Тихая простая мелодия вливается в мерцающий зал:

Вы рисуйте, вы рисуйте,  
Вам зачтется.  
Я потом, что непонятно, объясню...

Певец уходит.

Из тьмы возникает молодой человек. Исполняется пантомима под названием «Жизнь». Неиссякаемым темпераментом, непостижимой пластикой движений, мимикой лица актер проживает всю историю жизни человека. Рождение, развитие, радости, цветение, плоды, несчастье, увядание, старость, смерть. Колдовской танец длится пятнадцать минут.

Бьется о сцену, встает и падает, обовьется вокруг себя, распускается, оживает, погибает, трепещет новой силой и мечтой, разбивается и гордо возвышается, смеется, унывает, негодует это тело в полной тишине сцены и зала. Зрелище постепенно и поочередно захватывает то красотой физических движений, то стремительностью эмоциональных перемен. Как? И это наша жизнь? И это все? А дальше? Где продолжение? Почему все? Не хочу! Я хочу дальше, еще, снова, лучше... Повторите!

Но повторений нет.

Танцовщик исчезает во тьме так же мгновенно, как и появился.

\* \* \*

Многочисленные гости театра протягивают сегодня при входе свои билеты, увы, не контролеру, а отдают их в жесткие руки двух красноармейцев, стоящих у парадных дверей в длинных шинелях с грубовато нашитой кумачовой звездочкой. Солдаты коротким движением по очереди нанизывают билеты на штык боевой винтовки и резко указывают рукой — проходи!

Фойе театра заполнено до отказа. До начала спектакля — четверть часа. Внезапно воздух оглашает бывалая, русская, большеерото-бесшабашная гармонь. Гармонь? Откуда? Ах да, это же театр. Все замечают солдата в шинели и троих матросов с бескозырками на стальных кудрях, лихостью в очах и, конечно же, с открытой грудью в славной тельняшке. Среди них девушка в красной косынке. Они быстро и весело проходят сквозь расступившуюся удивленную толпу будущих зрителей — и отчаянно, с вольным присвистом и пляской понеслось по фойе и переходам:

Как родная меня мать провожала,  
Тут и вся моя родня набежала.  
— Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты,  
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.  
В Красной Армии штыки, чай, найдутся,  
Без тебя большевики обойдутся!..

Оглушительный свист! «И — эх!»

Поющих быстро окружают кольцом. «Красная косынка» срывается в круг, размахивая руками, крутя головой и ошарашивая всех дерзкой частушкой. Блаженно гоготущий матрос с гармонью пускается вслед за ней.

На груди у каждого зрителя внезапно оказывается приколотая тонкой булавкой гвоздика — красный матерчатый бантик.

Частушки сыплются, как пригоршни кедровых орешков, ими крепко шелкают в белых ядреных зубах. Слова подхватывают кто-то из зрителей. Но вот уже в частушках слышится что-то тревожное. Завораживая, они на глазах меняют облик плотно обступившего кольца, и чудится, будто душа начинает подниматься и кружить в огнедышащих ветрах 1917 года.

Запевая все новые и новые песни-частушки, боевая группа двинулась к зрительному залу. Все — за ней.

Медленно гаснет свет. Зал затих. Успокоился. Немножко расслабился. Беззвучно-тяжело поднимается боковая стена зала, та, что рядом со сценой. Открывается живая перспектива городской улицы. По железным ступеням поднимаются трое: рабочий в куртке, крестьянин в шинели и матрос в бушлате. Шаг в шаг они проходят к краю сцены. Одновременно замедленно снимают с плеч винтовки, подносят к плечу, целятся вверх...

Огонь! Три дула вмиг изрыгают короткое пламя и суровое эхо. Кто-то машинально схватился за носовой платок, кое-кто невольно закрывает глаза. Откройте глаза.

Огонь! Кое-кто чуть отшатнулся в кресле, кто-то вжал голову в плечи. Кто-то зажимает уши. Откройте уши.

«Десять дней, которые потрясли мир». Они стущаются под упругим давлением скрестившихся талантов в два огненных часа магического, захватывающе-властного действия, которое будоражит зал.

Лучи прожекторов беснуются над головами людей, впиваются в питерское небо. Залпы орудий с корабля. Штыки винтовок блестят пламенем, как густой загоревшийся лес; гром, гул и неровное зарево над улицами. Мрамор Зимнего, обвисшие щеки Временного правительства; окопы, офицеры, солдатские шинели, мировая дерзость военных моряков... Ходоки, вопли спекулянтов, невозмутимый шаг пролетария.

Вереница характеров, сцен, лиц; хаотическое движение улицы, речи, указы; контрреволюция; декреты... Волны красного цвета. Молодой Джон Рид.

Проходит спектакль — не проходит история.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте...»

\* \* \*

Петербург. Сумрачные краски осенних улиц и глубокой нищеты.

«Тварь ли я дрожащая или право имею?»

Преступление — миг краткий, у бездны на краю. Но наказание длится, длится, длится...

«Спасите наши души!» — взрывается раскаленный воздух зала надсаженным криком певца. Взрыв краток, он тут же гаснет.

В потусторонних, карающих отблесках голубых разрядов молний-фонарей, выхватывающих все новый и новый неподвижный миг действия, сжав голову руками, падает-катится в пространстве и времени Родион Раскольников. Оглушенный, ослепший, порвавший нить, поверженный ложными и страшными идеями.

Долог и труден путь искупления. Но остается надежда — тихая любовь Сони рядом.

Идет спектакль...

А в это время к служебному входу театра, грустно шелестя теплыми шинами, подкатывает «скорая помощь» и замирает, упершись фарами в кирпичную стену.

Актер, превосмогающий на сцене судьбу Родиона Раскольникова, нередко к концу спектакля теряет сознание, и всякий раз «скорая» отвозит его в больницу. На его место в последнем акте выходит дублер. Актеру резко сократили количество ролей. Ему запретили играть в «Преступлении и наказании». Но отводя рукой все предостережения, страхи, сплетни и лишние роли, он оставил для себя вскоре единственную — Раскольников.

Зрители шли на Раскольникова.

\* \* \*

«Мастер и Маргарита».

Одна из мизансцен. Слева, на краю подмостков стоит Иешуа Га-Ноцри из Гамалы. На плечи накинута старый оборванный хитон. Напротив него, на другом краю — в одеждах представителя римской власти прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Где-то в тени, за их спинами — президент Синедриона первосвященник Иосиф Каифа. Речи о власти, истине и справедливости оборваны.

Суд окончен. Вам слово, прокуратор Иудеи.

Вот он, миг кровавый выбора! Смерть и бессмертие. Помилован кто? Имя!

— Вар-р-раван!

Свет. Крест. Тело. Тьма. Свет. Распятие!

Гулкое эхо столетий.

Падает занавес (это рубище Иешуа или плащаница Христа?).

Огромный маятник всех времен колеблется перед глазами.

\* \* \*

«А зори здесь тихие...»

Кто-то из них пятерых (а мы знаем, что были сотни тысяч) успел полюбить, кто-то лишь мечтает, кому-то только снится. Пятеро простых девушек. Биографии у них разные, прически разные; отличаются размеры пилок и сапог; непохожие глаза, рост, голоса... Но гибель одним взмахом стирает всякую разницу и погружает всех в единую реку, которая вольется скоро в океан Победы.

Борта полуторки поочередно становятся и зыбким болотом, и высокими стволами деревьев в лесу, и родной далекой хатой в воспоминаниях...

На наших глазах они гибнут: захлебывается одна из девушек в чавкающем и смердящем на несколько верст вокруг болоте, другая падает под ударом длинного ножа в спину из-за ствола мирной березы, третья выскочила навстречу кровожадной автоматной очереди. Несбывшиеся жизни, невоплотившаяся любовь... Они уходят, и мы с ними не встретимся.

Их все меньше. Трое. Зал замедляет дыхание. Чей черед? Остались вдвоем. Одна. Но вот и она... Томительная пустынная тишина. Черный от смертельной тоски и усталости, молча судорожно трет лицо старшина Васков. Он не забудет и не простит.

Как боевой стяг, сникает высокий занавес.

В фойе театра темно, но тьма вдруг расступается. По ступеням лестницы вверх неожиданно и беззвучно вспыхивают пять огней из гильз артиллерийских снарядов — как факелы. Пламя трепетно клонит огневидную голову данью памяти. К этим фронтовым огням не привыкнешь. Они провожают прожившего два часа войны зрителя.

Огонь, выше еще огонь и еще огонь...

### Глава последняя

Пустеет зал... Уходить из театра всегда не хочется. Как-то бы помедленнее одеваться в фойе, задерживая взгляд то на портретах актеров на стене, то на бронзовых подсвечниках и на молчаливой очереди к гардеробу всех выходящих сейчас из зрительного зала.

Но вот и улица. Бр-р-р, все же весьма прохладно; конечно, осень. Так удивительно жилось... О, как иначе мы дышали там, в воздушно-озоновых слоях театра.

Легкий снежок опять летит, как и до спектакля, или это снег с дождем, или туман. Но погодите, это, кажется, иной снег... Дождь нас мочит, но уже не тот дождь. Ветер бежит под ногами и воет над головой, но это какой-то необычно теплый ветер. Звезды в проблесках между облаков вечернего неба, но это уже звездные струи и сияние небес... И неясное волнение и странные блики на лицах людей.

И опять надвигается туман. Все готов поглотить он, но остаются видны огни фойе театра. Они мерцают, удаляясь от нас, как маяки спасительного острова.

Но что это? Не может быть. Да вот бывает же так! Чудно все! Где-то в небе отчетливо громыхнуло, и сверкнула короткая молния, как будто в мае или июле. Такое знакомое лицо промелькнуло перед глазами. Да это же Высоцкий! Молодой, живой, веселый! Это же его голос:

Я перетру серебряный ошейник  
И золотую цепь перегрызу,  
Перемахну забор, ворвусь в репейник,  
Порву бока — и выбегу в грозу!

Все на улице узнают его, вмиг окружают радостным кольцом:

— Пожалуйста, еще! Спойте еще!

Высоцкий срывает с плеча гитару, не заставив ждать:

Спасите наши души!  
Мы бредим от удушья.  
Спасите наши души!  
Спешите к нам!  
...  
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,  
Только он не вернулся из боя.

...  
Я поля влюбленным постелю —  
Пусть поют во сне и наяву!..  
Я дышу, и, значит, я люблю!  
Я люблю — и, значит, я живу!

— Еще! Еще!..

Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?  
Кто выйдет к заветному мосту?  
...  
Я успеваю улыбнуться,  
Я видел, кто придет за мной.

Мы не успели оглянуться —  
А сыновья уходят в бой!

Автомобили и троллейбусы притормаживают, прохожие прибиваются к плотному кольцу зрителей этого неожиданно-нечаянного концерта под открытым осенним небом. Высоцкий пел не прерываясь, словно стараясь успеть:

Я весь в свету, доступен всем глазам, —  
Я приступил к привычной процедуре:  
Я к микрофону встал, как к образам...  
Нет-нет, сегодня точно — к амбразуре.

...

Смешно, не правда ли, смешно!  
А он спешил — недоспешил, —  
Осталось недорешено  
Все то, что он недорешил.

...

Я, конечно, вернусь — весь в друзьях и в мечтах,  
Я, конечно, спою — не пройдет и полгода.

...

Высоцкий пел. Ветер давно разогнал клочья тумана над городом. Площадь перед театром уже была заполнена битком. Она гудела, волновалась, хлопала в ладоши, с азартом выкрикивала:

- Спасибо-о-о-о!
- Про волков! Скалолазку!
- Про Одессу!
- На Большом Каретном!..

...

- Спасибо, что живой!